

РЕЦЕНЗИИ

Я.Г. Тестелец (отв. ред.). Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка. М.: РГГУ, 2009. 715 с.

Рецензируемый сборник основывается на полевых материалах, собранных во время нескольких экспедиций 2003–2006 гг. в селении Хакуринохабль Шовгенского района Республики Адыгея, в которых участвовали студенты и аспиранты МГУ и РГГУ, а также аспиранты и сотрудники ряда других институтов РАН Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть статей сборника разрабатывает традиционные адыговедческие темы, интерпретируемые в современном типологически ориентированном ключе, а именно: морфонологические чередования, выражение посессивности, употребление глагольных времен, категории залога и актантной деривации, семантика пресвербов, функции падежей, синтаксис нефинитных форм глагола. Ранее не подвергались систематическому описанию глагольная акциональность, синтаксическое выражение элементов информационной структуры, множественная релятивизация, стратегии выражения совпадающих актантов в полипредикативных конструкциях. Особо отметим карту «Адыгейский язык в Российской Федерации», выполненную Ю.Б. Коряковым. Несмотря на разнообразие тем, авторам удалось прийти к согласию по большинству теоретических вопросов¹, что делает данный сборник наиболее последовательным источником сведений об адыгейском языке, превосходящим в ряде отношений известную грамматику [Рогава, Крашева 1966].

В Хакуринохабле распространен темиргоевский диалект, лежащий в основе литературного адыгейского языка [Höhlig 1997: 39–41], и лишь в части семей, преимущественно представителями старшего поколения, употребляет-

ся абадзехский диалект, который долгое время сохранялся только в рассматриваемом районе, а также в ряде турецких провинций [Коряков 2006]. Наиболее системные отличия рассматриваемого говора от литературного языка относятся к сфере фонетики: например, литературное [e] после ларингальных согласных заменяется на [a] (*ha* 'собака' ~ литер. *he*).

Основную часть сборника предваряет краткий очерк адыгейской грамматики, выполненный П.М. Аркадьевым, Ю.А. Ландером, А.Б. Летучим, Н.Р. Сумбатовой и Я.Г. Тестельцом. Здесь компактно рассматривается большинство проблем, развитых далее в отдельных статьях. Очерк содержит множество ценных примеров и значительно превосходит по информативности аналогичные попытки сжатого описания адыгейской грамматики (см., например [Кумахов 2001]).

Остановимся подробно на содержании отдельных работ.

Статья П.М. Аркадьева и Я.Г. Тестельца посвящена трем морфонологическим чередованиям адыгейского языка (впрочем, наблюдающимся во всех адыгских языках), представляющим особую сложность для анализа: диссимилятивным чередованиям /c/ ~ /a/, /e/ ~ /ə/ и преобразованиям в префиксальных морфемах, содержащих фонему /j/. Предлагаемая интерпретация в общих чертах следует правилам, предложенным Р. Сметсом [Smeets 1984], однако она более точна и базируется на другом диалектном материале.

В наиболее общем виде условия диссимилятивного чередования /e/ ~ /a/ формулируются так: вместо последовательности /CeCe/ выступает последовательность /CaCe/ или непосредственно на конце словоформы, или перед морфемами из определенного набора (здесь С –любой согласный или группа согласных); однако условия применения этого правила оказываются достаточно сложными. Сложность эта связана прежде всего с тем, что границы

¹ Это проявилось и в названии сборника: ведущей типологической характеристикой адыгейского языка авторы считают его полисинтетический строй, при котором почти все грамматические явления морфологически выражаются в глаголе.

области чередования, как правило, не совпадают с границами словоформы; причины этого несовпадения не всегда ясны, хотя, как правило, имеют диахроническое объяснение.

Не менее сложными оказываются и правила чередования в префиксах, содержащих фонему /j/; эти правила затрагивают префиксы агенса единственного числа *jə-*, посессора *jə-*, версии косвенного объекта *je-* и их комбинации с префиксом множественного числа *a-*, а также локативный преверб *jə-*. В результате действия правил в префиксальной части словоформы обычно появляется фонема /r/, что и позволяет авторам (может быть, не вполне в соответствии с традиционным пониманием этого термина в исторической фонологии) называть эту группу чередований «ротацизмом».

Статья И.М. Горбуновой посвящена посессивным конструкциям – теме, достаточно часто привлекавшей внимание адыгovedов [Рогава, Керашева 1966; Кумахов 1971; Рогава 1980 и др.]. Адыгейский язык различает две модели выражения посессивности – «отторжимую» (или «отчуждаемую») и «неотторжимую». На морфологическом уровне отличие заключается в том, что неотторжимая принадлежность выражается только согласовательным маркером, в то время как отторжимая требует появления дополнительного посессивного префикса *-jə-*:

s-jə-š
1SG.PR-POSS-лошадь
'моя лошадь'
(отторжимая модель)
sə-g_w
1SG.PR-сердце
'мое сердце'
(неотторжимая модель)

Выбор техники маркирования посессивности зависит от семантического класса существительного. Класс «неотторжимых» имен содержит достаточно малочисленную группу существительных, являющихся одноместными предикатами с обязательной валентностью на посессора (типа *šə* 'брат', *g_wə* 'сердце', *laq_we* 'нога'). «Отторжимый» класс образуют все прочие имена.

Классы этих имен отчасти могут быть предсказаны исходя из общетипологической «иерархии неотторжимости», предложенной Дж. Николз: части тела и термины родства > часть / целое > пространственные отношения > культурно значимые предметы обладания > остальное [Nichols 1988: 572]. В дополнении к этому, неотторжимая модель морфологически более простая и, видимо, более архаичная, чем отторжимая [Nichols 1986; Кумахов 1989]. Однако для адыгейского языка чисто семантический характер распределения этих двух кон-

струкций часто нарушается, и «отторжимая» модель имеет тенденцию расширять сферу употребления за счет «неотторжимой».

В работе выделяется несколько семантических классов, для которых актуальны различные модели выражения посессивности. Среди этих классов: части тела, покровы тела, физические дефекты и физиологические выделения, внутренние органы, термины родства, части неодушевленных предметов. Однако релевантность этой классификации для описания правил выбора моделей, на наш взгляд, остается невысокой. Дело в том, что практически все эти классы допускают обе модели, а предпочтение той или иной, видимо, определяется конкретной лексемой, а не семантическим классом как таковым; иными словами, правила выбора в конечном счете имеют лексический, а не семантический характер. Так, *ləpce* 'мышца' выбирает только отторжимую модель, а *č'e* 'селезенка' – только неотторжимую, хотя обе эти лексемы относятся в интерпретации автора к одному классу (и примеры такого рода далеко не единичны).

Работа Н.В. Сердобольской и Ю.Л. Кузнецовой посвящена двойному падежному маркированию в адыгейском языке. Адыгейская форма эргатива способна в определенных контекстах также присоединять дополнительный показатель инструменталиса (*wetəč'ə-č'e* 'топор-INS' ~ *wetəč'ə-m-č'e* 'топор-ERG-INS'). В большинстве случаев различие в употреблении этих форм объясняется референциальным статусом словоформы, т.к. по общим правилам показатель эргатива в адыгейском языке может опускаться при неопределенных и нереферентных именах. Исходя из этого, в ряде работ по адыгейской грамматике предлагается различать определенное (с эргативом) и неопределенное (без эргатива) склонение (ср., например [Зекох 2002]). Кроме того, на употребление показателя эргатива имеются и более формальные ограничения: он обязателен при наличии показателя множественного числа и, наоборот, невозможен при собственных именах, личных местоимениях, именах с посессивным показателем и числительных.

При этом оказывается, что формы «определенного» и «неопределенного» склонения дифференцированы по функциям сильнее, чем этого требует референциальный статус словоформы. Так, оба варианта оформления равноправны и опираются исключительно на референциальный статус при выражении причины, образа действия, средства, временного интервала, обменного эквивалента, цены и срока. Однако вариант с двойным маркированием предпочтителен для аллативного значения (движение в сторону ориентира, но не не-

посредственно к нему) и строго обязателен для значений адэлатива (удаление от ориентира), стимула эмоции, источника звука, темы и точки приложения силы, независимо от референциального статуса ИГ.

В менее ясной части работы авторы рассматривают генезис адыгейского инструменталиса, который, кроме выражения инструмента, объединяет в себе пространственные значения адэлатива, аллатива и пролатива (движение через ориентир). Утверждается, что инструментальное значение не является базовым для соответствующего адыгейского падежа, т. к. выражение аллатива и еще нескольких значений, вообще говоря, типичным инструментальным падежам не свойственно. Авторы, опираясь на работу [Ганенков 2002], в качестве основного значения предлагают считать пролативное, все типичные значения зоны которого (маршрут, проход, участок движения) в адыгейском выражаются инструменталисом; при этом существенно, что показатели пролатива в языках мира часто развивают дополнительное значение инструмента [Там же: 46–54]. Не вполне тривиальным фактом кажется совмещение в адыгейском инструменталисе значений аллатива и адэлатива, кодирующих противоположные направления движения.

Кроме того, авторы предполагают, что значения, допускающие оба способа маркирования, группируются вокруг пролативной зоны, а те, что строго предписывают двойное маркирование, – вокруг адэлатива. Тем самым, в адыгейском языке произошло своего рода грамматическое обособление ряда адэлативных употреблений (которые, как считают авторы, к тому же склонны к определенной референции ИГ). Рассуждения, приводимые в доказательство этих тезисов, выглядят здраво, но слабым местом этой аргументации оказывается отсутствие типологических корреляций с адыгейским адэлативом. При этом авторы оставляют в стороне вопрос о том, насколько действительно выбор типа падежного маркирования зависит от референциального статуса ИГ, а насколько от ее пространственной семантики и окружающего контекста.

П.М. Аркадьев в работе об акциональной классификации глаголов делает попытку применить новейшие теоретические разработки в этой области для описания акциональных свойств ряда адыгейских предикатов. Несмотря на ограниченность выборки (порядка 130 предикатов), автор устанавливает ряд интересных фактов.

Автор опирается на получившую в последнее время распространение (несмотря на ряд серьезных теоретических недостатков, ср. [Плунгян, в печати]) двухкомпонентную тео-

рию вида, которая различает внешнюю (собственно аспект, или *viewpoint aspect*) и внутреннюю (акциональность, или *lexical aspect*) аспектуальность [Smith 1997; Sasse 2002 и др.]; очевидным образом, термин «lexical aspect» удачным признать нельзя. При выделении акциональных классов используется несколько модифицированная схема из работы [Татевосов 2005], при которой для отнесения глагола к тому или иному классу требуется построение исчисления возможных значений двух параметров – универсального акционального значения (онтологический тип ситуации) и универсального аспектуального значения (определяемого в этой процедуре по контекстам настоящего и прошедшего времени). Таким образом, для каждого класса устанавливается акциональная характеристика, т. е. пара множеств акциональных значений для актуально-длительного значения настоящего времени и для перфективного претерита. Это позволяет выделить следующие универсальные классы²: стативный <S; S>, процессуальный <P; P>, (сильный) предельный <P; ES>, слабый предельный <P; ES, P>, моментальный <–; ES>, сильный инцептивно-стативный <S; ES>, слабый инцептивно-стативный <S; ES, S>, сильный ингрессивно-процессуальный <P; EP>, слабый ингрессивно-процессуальный <P; EP, P>, (слабый) мультипликативный <M; Q, M>.

Характерной чертой адыгейского языка является слабое различие между глаголами и именами: лексемы, которые семантически «естественно» было бы относить к одному или другому классу, в принципе, могут обладать одним и тем же набором служебных морфем и, соответственно, выступать в предикативной функции³. Еще одна трудность касается противопоставления динамических и стативных глаголов, проводимого на морфологическом уровне (динамические глаголы образуют полную глагольную парадигму), хотя это противопоставление далеко не всегда мотивировано семантически: например, семантически стативные глаголы *ježen* ‘ждать’ и *wəzəl* ‘болеть’ являются «динамическими» по своим морфосинтаксическим свойствам. Обе эти трудности учитываются при анализе выборки.

В итоге в адыгейском языке вовсе не обнаруживается слабых ингрессивно-процессуаль-

² S – состояние (*снит*), P – процесс (*летит*), M – мультипликативный процесс (*кашляет*), ES – вхождение в состояние (*заснул*), EP – вхождение в процесс (*полетел*), Q – квант мультипликативного процесса (*кашлянул*).

³ О различных способах «развести» эти категории см. с. 30–37 наст. изд.

ных глаголов <P; EP, P>, а слабые инцептивно-стативный <S; ES, S> и мультипликативный <M; Q, M> классы содержат исчезающе малое число примеров.

Интересно влияние акционального класса на интерпретацию нефинитных форм с префиксом *zere-* и суффиксом *-ew*, возглавляющих зависимую предикацию с таксисным значением (события P_1 и P_2 следуют непосредственно друг за другом). Оказывается, что предикаты стативного и процессуального классов допускают значение одновременности ситуаций, в то время как глаголы сильных инцептивно-стативного и ингрессивно-процессуального классов требуют значения следования.

Далее рассматривается ряд явлений аспектuallyй композиции, т. е. аспектуально релевантного взаимодействия предиката и его аргументов и/или модифицирующих его обстоятельств. Среди явлений первого порядка отмечается, что акциональная характеристика инкрементального предиката практически не зависит от кумулятивности или квантованности аргумента. Кумулятивная интерпретация множественных аргументов (т. е. в виде нерасчлененного множества) в адыгейском практически отсутствует: формы мн. ч. по умолчанию воспринимаются как определенные, т. е. квантованные (ср. с наблюдениями в статье Н.В. Сердобольской и Ю.Л. Кузнецовой), кумулятивное же восприятие может диктоваться только прагматикой:

тəʔegəsə-xe-g šwə-kə-x
яблоко-PL.ABS гнить-PST-PL
'яблоки сгнили (все || *часть)'

Ценен и анализ сочетаемости адыгейских глагольных форм с обстоятельствами времени. Присутствие в предложении обстоятельства длительности приводит к неопредельному (процессуальному или стативному) прочтению, а обстоятельства срока – к предельному (вхождение в состояние; редко – в процесс). Такая свободная сочетаемость приводит к ряду теоретических проблем: напомним, что при разбиении предикатов на акциональные классы именно сочетаемость с обстоятельствами времени изначально использовалась в качестве диагностического критерия [Vendler 1967], что отчасти верно для английского языка, однако решительно сопротивляется адыгейскому материалу.

Отчасти перекликается с рассмотренной тематикой статья Н.А. Коротковой «“Прошрое” и “сверхпрошрое” в адыгейском языке».

Автор уточняет представления о системе форм прошедшего времени в адыгейском языке, сформулированные в [Рогава, Керашева 1966]. Противопоставление претерита на *-кə*

и имперфекта на *-š'tə-kə* носит видовой характер и соответствует частотной оппозиции перфектив ~ имперфектив в других языках мира. При отсутствии контекстных модификаторов претерит обозначает, в зависимости от акционального класса предиката, либо переход от одного состояния или процесса к другому, либо квант мультипликативного процесса. Имперфект же имеет два основных значения: дуратив и хабиуталис. Кроме того, морф *-š'tə-*, входящий в состав показателя имперфекта, сам по себе многозначен: так, в зависимости от морфологического контекста, он способен обозначать будущее время (будущее I и II в традиционной терминологии) или предположительное наклонение (событие с высокой степенью вероятности). При этом для имперфекта предполагается грамматическая омонимия, т. к., во-первых, значение имперфекта не выводится из комбинации ирреалиса и прошедшего времени, а, во-вторых, показатель имперфекта не может разрываться никакими другими показателями. Диахронически показатели имперфекта, с одной стороны, и предположительного наклонения / будущего времени, с другой, восходят к глаголу *š'təp* 'стоять', но его грамматикализация, видимо, проходила двумя «волнами» с различными результатами. Подтверждением этому отчасти служит то, что они по-разному ведут себя в отношении морфонологического чередования *e ~ a*.

В адыгейском языке выделяют два «давно-прошедших» времени с показателями *-каке* и *-š'tə-каке* соответственно. Традиционная грамматика не членит эти показатели на составляющие, что, кажется, не вполне оправдано. Удвоение аффикса прошедшего времени *-ке ~ -ка* представляет собой случай употребления показателя ретроспективного сдвига, который, присоединяясь к словоформе с выраженным временным или аспектуальным значением, отодвигает ее значение назад по временной оси (ср. [Плунгян 2001]). Морфема *-каке* представляет собой типичный показатель семантической зоны «сверхпрошлого» (в терминологии В.А. Плунгяна), кодируя таксисное значение, значение «прекращенного прошлого» (в некоторый момент в прошлом P имело место, в момент речи не имеет), «аннулированного результата» (в некоторый момент в прошлом P имело место и имел место его результат; в момент речи результат P отменен другим действием), контрфактивного условия в прошлом (вместе с дополнительным маркером *-те*; в протасисе тех условных конструкций, обе части которых не соответствуют действительности) и экспериментивное значение (в момент речи важно наличие у субъекта ситуации определенного опыта). Вторая форма

плюсквамперфекта имеет более узкую семантику и используется только в аподосисе контрфактивных условных конструкций.

Важно, что в обоих типах плюсквамперфекта последовательность *-каве* может разрываться некоторыми другими суффиксами (например, терминативным *-хе*), а это напоминает о том, что показатель ретроспективного сдвига *-ке* появляется в составе словоформы с уже выраженным аспектуально-темпоральным значением. Этот факт, как справедливо отмечается в статье, противоречит порядковой модели описания адыгейской словоформы [Smeets 1984; наст. сб.: 40–51], однако объяснение этого противоречия автором не дается.

Иная фундаментальная зона глагольных значений – модальность – рассматривается в статье Ю.Л. Кузнецовой, где довольно подробно анализируются все грамматически выраженные модальные значения адыгейского глагола, которые относятся, в основном, к ирреальной зоне, отличаясь высокой разветвленностью и специфицированностью значений. Среди наклонений, выражающих различные типы желания, различают императив, оптатив, деидератив (практически не употребляющийся) и юссив (объединенные автором в «повелительные» наклонения). Несколько более сложна ситуация с условными наклонениями, маркирующими предикат зависимой клаузы: классические грамматики адыгейского выделяют четыре формы условного наклонения, но в изученном говоре обнаруживается только три (с показателями *-те*, *зэ-...-čé*, *-čé*). Первая из этих форм, согласно приводимым данным, может использоваться в любой условной ситуации; вторая – в случае реального условия (т.е. истинность условия находится в пресуппозиции). Выделяется три сослагательных наклонения (*-š'tə-вэ*, *š'tə-ва-вэ*, *-п-јэ*, *-п-к-јэ*), еще четыре, фиксируемых в [Рогава, Керашева 1966], не обнаруживаются в рассматриваемом говоре. Выбор конкретной формы осуществляется за счет двух групп параметров: желательности ситуации (желаемая vs. нейтральная) и степени ее реальности (реальная vs. ирреальная vs. контрфактивная).

Кроме того, в адыгейском встречается довольно редкое в языках мира фрустративное наклонение, обозначающее ситуацию, при которой действие не имело желаемых последствий⁴. В этом смысле фрустратив принад-

⁴ Маркируется это наклонение двояко: при помощи показателя *-čé* и при помощи показателя оптатива *ere-* вместе с маркерами прошедшего времени, хотя в последнем случае, кажется, предпочтительнее было бы говорить о фрустративных значениях оптатива.

лежит к уже упоминавшейся выше семантической зоне антирезультатива (см. подробнее [Плунгян 2001]). Фрустратив (да и антирезультатив в целом) относится к малоизученной области глагольной семантики, и поэтому посвященный ему обширный фрагмент крайне интересен. В статье также дается краткий обзор различных видов уступительных и предположительных наклонений. Последние крайне редко типологически и на адыгейском материале выделяются, насколько можно судить, впервые. Их дистрибуция зависит от степени вероятности события – ожидаемые события (в свою очередь, вероятные или маловероятные) противопоставлены неожиданным, и каждому из этих типов соответствует собственный глагольный показатель.

Крайне интересны две статьи А.Б. Летучего, посвященные различным типам актантной деривации: первая – бенефактиву и малефактиву, вторая – каузативу и декаузативу. Бенефактивная и малефактивная «версии» добавляют к валентной структуре глагола не прямой объект, маркированный эргативом, и не меняют оформления остальных актантов⁵ (синтаксические свойства адыгейской версии в статье разбираются очень подробно). Аффикс бенефактива *fe-* обладает крайне разветвленной семантикой, выражая значения собственно бенефактива, адресата, конечной точки движения и цели, проспективного посессора⁶, стимула ощущения, субъекта оценки, субъекта потенциальной ситуации и др. Каждое из этих значений детально анализируется.

Круг значений малефактивного префикса *š_we-* уже, хотя их сочетание также не является типологически тривиальным: к ним относятся непосредственно малефактив, положение объекта на конце ориентира, субъект несумышленного действия и субъект оценки, экспериенцер. Кроме анализа конкретных употреблений, автор предлагает убедительный диахронический сценарий расширения круга значений для обеих граммем.

Каузатив относится к повышающим деривациям, а декаузатив – к понижающим. Каузативный префикс *ke-* обладает крайне широкой дистрибуцией и способен сочетаться почти со всеми глаголами и деривационными маркера-

⁵ Отметим досадную опечатку в глоссах к примеру (2) на с. 331. Увы, опечатки, несколько затемняющие смысл изложения, встречаются и в других местах статьи.

⁶ Глаголы этой версии обозначают действие, предполагающее передачу пациенса бенефицианту, но при отсутствии самой передачи (с. 340–341). Ср. русские контексты типа *Я купил тебе подарок*.

ми (реципрока, рефлексива, антипассива и др.). Кроме собственно каузативного значения он может обозначать гортатив (побуждение к совместному действию говорящего и адресата), а также приводить к ряду чисто синтаксических преобразований с утратой семантики каузации. Декаузатив же в адыгейском маркируется префиксом *зэ-*; этот показатель полисемичен и чаще всего обозначает реципрок и рефлексив. Отдельно анализируется сочетаемость показателей каузатива и декаузатива с лабильными глаголами.

Семантике локативных употреблений аффиксов *рэ-* и *ξ_ωе-* посвящена работа Ю.В. Мазуровой. Оба рассматриваемых аффикса кодируют локализацию объекта на конце ориентира и в некоторых контекстах взаимозаменяемы. Грамматикализация этой пространственной ситуации, вообще говоря, не очень распространена в языках мира. Автор выделяет прототипическое значение каждого из синонимичных показателей. Так, для показателя *ξ_ωе-* важно, что объект вертикально ориентирован, имеет острый конец; для *рэ-* же размер объекта не определен, но локализуемый объект «прикреплен» непосредственно к концу ориентира. Эти прототипические схемы допускают ряд отступлений. Интересно, что префикс *рэ-* происходит, по всей вероятности, от существительного *ре* 'нос', а *ξ_ωе-* – от общеадыгского обозначения шеи, утерянного в адыгейском языке, но сохраненного кабардинским.

В работе Н.В. Сердобольской выдвигается ряд аргументов за единую интерпретацию форм второго будущего, инфинитива, масдара и супина, рассматриваемых традиционной грамматикой изолированно, но маркированных одним и тем же показателем *-л*, восходящим, видимо, к общеадыгскому показателю инфинитива. Для системы адыгейских нефинитных форм используется градуальная интерпретация проявления финитных свойств [Givón 1990], осложненная ослабленным противопоставлением глагольных и именных форм в адыгейском.

Второе будущее в адыгейском языке выражает ряд модальных значений, среди которых значения внешней возможности и внешней необходимости, эпистемической возможности и собственно будущего времени, которое, как показано во многих типологических работах (ср., в частности [Bybee et al. 1994; van der Auwera, Plungian 1998]), по существу также может рассматриваться как модальное значение.

К омонимичным формам с показателем *-л* относятся масдар, инфинитив и супин. Инфинитив и масдар довольно слабо отличаются друг от друга и от второго будущего по морфосинтаксическим критериям и занимают до-

статочно высокое место на шкале финитности. Фактически самое существенное отличие между этими формами и вторым будущим заключается в отсутствии временной соотнесенности обозначаемой ситуации. Супин выражает тот же круг значений и, в свою очередь, формально отличается от масдара наличием адвербиального суффикса *-ew* и, естественно, синтаксической позицией. Тем самым, предлагается единая трактовка всех перечисленных форм как выражающих граммему потенциалиса, обозначающую ситуацию, либо не локализованную темпорально, либо относящуюся к будущему и принадлежащую «ментальному миру говорящего (или субъекта главной предикации)» (с. 493).

Материалы, завершающие сборник, посвящены преимущественно синтаксической проблематике. Так, в работе Н.В. Сердобольской и А.В. Мотлохова исследуется семантика конструкций с сентенциальными актантами (КСА), т. е. конструкций, в которых зависимая предикация замещает одну из валентностей главного предиката. В адыгейском КСА кодируются при помощи различных нефинитных глагольных форм. При этом факт, событие и пропозиция выражаются разными способами. Первые два случая – фактивной формой и инструментальным падежом соответственно. Для пропозиции же картина сложнее. При пропозиции с нейтральным истинностным значением выбирается обстоятельственный падеж (на *-ew*), при ирреальной или ложной пропозиции – инструментальный падеж, а в случае ситуации в будущем или ситуации с родовым референциальным статусом (типа *мне нравится читать*) – потенциалис (в том смысле, как он был определен выше). Важное отличие от языков «европейского стандарта» заключается также в том, что для адыгейского не существенна кореферентность субъекта зависимой клаузы субъекту (или объекту) главной.

Коммуникативная структура адыгейского предложения рассмотрена в работе Н.Р. Сумбатовой. Противопоставление имен и глаголов, вообще слабо выраженное в адыгейском, поддерживается существованием в предложении «прототипических» именных и глагольных позиций: например, имена могут выступать в аргументной позиции без специального маркирования, а глаголы – только при наличии показателей абсолютива или эргатива. Нечто подобное наблюдается и в релятивных конструкциях: например, если одна из двух неоформленных групп – вершина конструкции, а другая – атрибут, то вершиной может быть только группа с именным корнем. Данные обстоятельства позволяют автору различать нейтральные

и маркированные с точки зрения коммуникативной структуры предложения. Так, для нейтральных предложений допустимы все структуры, в которых в фокус попадает вершинный предикат, аргумент же, заполняющий абсолютивную валентность главного предиката, может быть как оформлен падежным маркером, так и неоформлен. Для маркированных предложений допускается лишь помещение в фокус выраженного именем предиката, а вся остальная часть (топик) выносится в абсолютивную группу:

[svet a-гə] [a qeкакə-г
Света тот-PRED тот цветок-ABS
zə-f-jə-š'efə-ke-г]
REL.IO-BEN-3SG.A-купить-PST-ABS
'Он купил эти цветы [именно] для Светы'.

Еще более специальная проблематика множественной релятивизации рассматривается в статье Ю.А. Ландера. Адыгейский различает две стратегии релятивизации: немаркированную, при которой абсолютивный актанта релятивизируется из зависимой клаузы, а мишень специально не маркируется, и прономальную (для неабсолютивных актантов), при которой на месте личного префикса, соответствующего мишени, появляется релятивный показатель zə-:

se s-ʔəv txələ-г
я 1SG.A-держатъ книга-ABS
'книга, которую я держу'
vs.

apč'ə-г zə-qwəta-kə čālc-г
стекло-ABS REL.A-разбить-PST парень-ABS
'мальчик, разбивший стекло'

Адыгейская множественная релятивизация основана на кореферентности нескольких ролей (в отличие, например, от европейских языков, где в относительной конструкции используется только одна мишень)

zə-dež' Paste
REL.PP-K пасте
z-e-z-ke-švə-ž'ə-ke-г
REL.IO-OBL-1SG.A-CAUS-есть-RE-PST-ABS
'тот, кого_i я накормил пасте у него_i дома'
(букв.: 'тот, которого я накормил пасте дома у которого')

При этом множественная релятивизация оказывается невозможна, если одной из мишеней является абсолютивный актанта, что интерпретируется как запрет на совмещение

двух стратегий релятивизации в одной конструкции.

Релятивизация из зависимых, подчас глубоко вложенных клауз, затрудненная в других языках, также обнаруживает крайнее распространение в адыгейском. Однако этот тип релятивизации должен сопровождаться релятивизацией какого-либо кореферентного актанта матричной клаузы, причем для необязательных актантов глагола предусмотрен специальный механизм вставки. Предполагается, что релятивизация из зависимой клаузы происходит циклически: релятивизация начинается с зависимой клаузы и постепенно «поднимается» к матричной. Такая картина наблюдается (правда, редко) и в ряде других языков мира, например, в малагасийском.

Завершает сборник работа Я.Г. Тестельца, посвященная невыраженным актантам в полипредикативных конструкциях (подчинительного типа). Опускание одной из двух или более совпадающих именных групп в главной и зависимой клаузах в адыгейском не подчиняется практически никаким формальным ограничениям. Материал рассматривается с позиций грамматики составляющих: получается, что адыгейский нарушает так называемый «принцип С», который предполагает, что полная ИГ не может иметь в качестве антецедента подлежащее клаузы, в которую она входит. Нарушение принципа С обнаруживается также в ряде других полисинтетических языков (например, в языках на-дене), но только в адыгейском это условие нарушается и при так называемом «семантическом связывании», при котором постулируется обязательное наличие командующего антецедента (имется в виду генеративное С-командование, оно же структурный приоритет)⁷:

[a čālc-m mašjənc
тот парень-ERG машина
q-ə-š'efə-n-ew]
DIR-3SG.A-покупать-POT-ADV
faj gwəslan faj-ep
хочет Руслан хотеть-NEG
'Этот парень хочет купить машину, а Руслан не хочет'.

⁷ Заметим, впрочем, что во многих исследованиях функционального направления вообще отрицается статус «принципа С» как универсального формально-синтаксического ограничения, и его действие объясняется скорее дискурсивно-прагматическими факторами (ср., например, любопытную дискуссию по этому поводу в первом номере журнала «Cognitive linguistics» за 2009 г.).

Это предложение может получать две интерпретации:

а. '...Руслан не хочет, чтобы парень купил машину'.

б. '...Руслан не хочет сам покупать машину'.

В работе предлагаются различные попытки объяснения этой типологической особенности.

Оценивая сборник в целом, следует подчеркнуть, что он является крайне важным источником сведений об адыгейском языке для широкого круга типологов; это особенно существенно ввиду типологической уникальности ряда фрагментов адыгейской грамматики. Однако жаль, что среди рассмотренных проблем не нашлось места интерпретации адыгейской акцентной системы, которая также демонстрирует ряд нетривиальных особенностей и явно достойна стать предметом отдельного тщательного изучения⁸. В остальном же книгу можно считать почти исчерпывающим справочником по адыгейской грамматике, во многих отношениях более полным и современным, чем традиционное – и наиболее известное – грамматическое описание [Рогава, Керашева 1966]. Следует, конечно, иметь в виду, что, в отличие от последнего, предлагаемое описание почти не ориентировано на корпус аутентичных адыгейских текстов (как и в целом на дискурсивные или корпусные методики и, шире, методики «исключенного наблюдения»): основной массив примеров в книге представляет собой искусственные изолированные высказывания, полученные с помощью прямого опроса двуязычных информантов. Как хорошо известно, опора на такой материал имеет свои недостатки и ограничения. Можно надеяться, что будущее полное описание адыгейского языка сумеет продемонстрировать эффективное сочетание обеих методик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ганенков 2002 – Д.С. Ганенков. Типология падежных значений: семантическая зона пролатива // Исследования по теории грамматики. Вып. 2. Грамматикализация пространственных значений в языках мира. М., 2002.
- Дыбо 2000 – В.А. Дыбо. Морфологизированные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Т. I. М., 2000.
- Зекох 2002 – У.С. Зекох. Адыгейская грамматика. Майкоп, 2002.
- Коряков 2006 – Ю.Б. Коряков. Атлас кавказских языков. М., 2006.
- Кумахов 1971 – М.А. Кумахов. Словоизменение адыгских языков. М., 1971.
- Кумахов 1989 – М.А. Кумахов. Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков. М., 1989.
- Кумахов 2001 – М.А. Кумахов. Адыгейский язык // М.Е. Алексеева (ред.). Кавказские языки. М., 2001.
- Плунгян 2001 – В.А. Плунгян. Антирезультатив: до и после результата // Исследования по теории грамматики. Вып. 1. Грамматические категории. М., 2001.
- Плунгян, в печати – В.А. Плунгян. Введение в грамматическую семантику. М., в печати.
- Рогава 1980 – Г.В. Рогава. Категория органической и вещественной принадлежности в адыгейском языке. Тбилиси, 1980.
- Рогава, Керашева 1966 – Г.В. Рогава, З.И. Керашева. Грамматика адыгейского языка. Майкоп; Краснодар, 1966.
- Татевосов 2005 – С.Г. Татевосов. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.
- Bybee et al. 1994 – J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Givón 1990 – T. Givón. Syntax: A functional-typological introduction. V. 2. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Höhlig 1997 – M. Höhlig. Kontaktbedingter Sprachwandel in der adygeischen Umgangssprache im Kaukasus und in der Türkei. München, 1997.
- Nichols 1986 – J. Nichols. Head-marking and dependent-marking grammar // Language. V. 62. 1986.
- Nichols 1988 – J. Nichols. On alienable and inalienable possession // W. Shipley (ed.). In honor of Mary Haas: From the Haas festival conference on Native American linguistics. Berlin, 1988.
- Sasse 2002 – H.-J. Sasse. Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? // Linguistic typology. 2002. V. 6. № 2.
- Smeets 1984 – R. Smeets. Studies in West Circassian phonology and morphology. Leiden, 1984.
- Smith 1997 – C. Smith. The parameter of aspect. Dordrecht, 1997.
- van der Auwera, Plungian 1998 – J. van der Auwera, V.A. Plungian. Modality's semantic map // Linguistic typology. 1998. V. 2. № 1.
- Vendler 1967 – Z. Vendler. Verbs and times // Linguistics in philosophy. Ithaca (NY), 2001.

⁸Изучению близкородственной абхазской акцентной системы была посвящена работа В.А. Дыбо [Дыбо 2000: 660–674].